

Раздел 4  
**ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СЛОВЕСНОСТЬ  
В ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ**

УДК 821.161.1 Достоевский + 2-42

А. А. Медведев

**«СЕРДЦЕ МИЛУЮЩЕЕ»  
В ТВОРЧЕСТВЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО  
И ХРИСТИАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ**

В данной статье предлагается рассмотреть образы творения и животных в творчестве Достоевского в «малом времени» (в современной писателю эпохе) и в «большом времени» — в христианской историко-культурной перспективе<sup>1</sup>. Категорию «большого времени» ввел М. М. Бахтин, исходя из того, что произведение раскрывает свои потенциальные смысловые глубины, обновляется, обогащается новыми значениями в историко-культурных контекстах, перерастает то, чем оно было в эпоху своего создания: «Смысловые явления могут существовать в скрытом виде, потенциально, и раскрываться только в благоприятных для этого раскрытия смысловых культурных контекстах последующих эпох» [Бахтин, с. 454]. Продолжая бахтинскую традицию историко-культурной оптики «большого времени», С. С. Аверинцев говорит о большей точности и объективности историко-культурного подхода, нежели эмпирико-исторического, кажущегося объективным: «В “большом времени” смысл прорастает, как зерно, перерастает себя, он меняется, не подменяясь, он отходит

---

<sup>1</sup> Впервые тема животных в творчестве Достоевского была поставлена Р. Плетнёвым, который систематизировал ее по четырем направлениям: 1) алфавитный бестиарий Достоевского (свыше ста родов и видов животных); 2) примеры метафорического и фразеологического образов животных; 3) сюжетная функция животных; 4) символика животных [см.: Плетнёв, 1972, с. 113–133].

сам от себя, как река отходит от истока, оставаясь все той же рекой. “Большое время”... реальнее, чем изолированный исторический момент; последний есть, по существу, наша умственная конструкция, потому что историческое время — длительность, не дробящаяся ни на какие моменты, как вода, которую, по известному выражению поэта, затруднительно резать ножницами. <...> ...За пределами исторического момента он [факт] попадает в новый контекст новых фактов, сплетается с ними в единую ткань, становится компонентом рисунка, проступающего на этой ткани и на глазах усложняющегося, и тогда смысл его имеет уже не столько границы объема, сколько опорные динамические линии, куда-то ведущие и куда-то указывающие» [Аверинцев, 2005, с. 316].

В русской культуре любовь к животным образует традицию, имеющую прежде всего христианские истоки. Сострадательная, жалостливая любовь к животным в христианстве выступает важнейшим свойством духовного совершенства, неотъемлемой чертой святости: «*Праведникъ милуетъ души скотовъ своихъ: утробы же нечестивыхъ немилостивны*<sup>2</sup> — Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко», — читаем в Книге Притч Соломоновых (Притч. 12 : 10). Это представление о праведнике разовьет в своем знаменитом слове о милующем сердце (греч. *kardia eleemon*)<sup>3</sup> преп. Исаак Сирий (VII в.), по которому «великая жалость» к животным уподобляет человека Богу в Его кенотической любви, духовно

---

<sup>2</sup> Здесь и далее церковнославянские и дореформенные тексты цитируются по правилам современной орфографии, с сохранением орфографических и пунктуационных особенностей оригинала.

<sup>3</sup> Милость (греч. *eleos*) — ключевой концепт христианства, сущностное свойство Бога («превыше небес милость Твоя» (Пс. 107 : 5)) и Спасителя («*едине ведый человеческого существа немощь и милостивно*» (греч. *sympathos* — сострадательно, разделяя страдания) *въ не воображся* — Ты один знающий, как немощно человеческое существо, и сострадательно принявший его образ (Ирмологий, глас 1, 3–1)» [Седакова, с. 175]. Цсл. *Милость* — сострадание, милосердие; *Милый* — мягкий, нежный, трогательный, умилительный, близкий к сердцу, вызывающий соучастие, милость и жалость [Дьяченко, с. 305–306]. Этот концепт является сущностным в образе Христа у Достоевского: в райском видении Алеши Карамазова Спаситель «милостив бесконечно» [Достоевский, т. 14, с. 327]. Далее ссылки на произведения Достоевского даются по этому изданию в тексте в квадратных скобках с указанием тома и страницы цитирования.

очищает его. Приведем эти слова по славянскому переводу Паисия Величковского (изданному по инициативе старца Макария Оптинского) и в русском переводе, изданном Московской духовной академией (судя по кратким перечням книг, составленным А. Г. Достоевской [Буданова], в библиотеке писателя имелись оба эти издания: оптинское («Святаго отца нашего Исаака Сирина слова» [Святаго отца нашего Исаака Сирина, 1854]<sup>4</sup>) и московское («Слова святаго Исаака Сирина. 1854» [Иже во святых отца нашего аввы Исаака Сириянина, 1854])):

И что есть чистота? Вкратце: сердце милостиво о всяком созданном естестве. <...> И что есть сердце милостиво? и рече: жжение (горение, соболезнавание) сердца о всякой твари, о человецех, и птицах, и животных, и бесовох, и о всяком создании, и от поминания их, и видения их, точат очи его слезы, от многия и зельныя милостыни, содержащая сердце. И от многаго терпения умалевается сердце его, и не может стерпети, или услышати, или увидети вред некий, или печаль малу, бывающую во твари. И сего ради и о безсловесных, и о вразех истины, и о вреждающих его на всяк час молитву со слезами приносит, о еже сохранитися им, и очиститися им; подобне и о естестве гадов от многия своєю милостыни, движимыя в сердце его безмерне (стареет жалостию) по подобию Божию [Святаго отца нашего Исаака Сирина, 2004, с. 231–232].

Что такое чистота? Кратко сказать: сердце, милующее всякую тварную природу. <...> И что такое сердце милующее? — и сказал: возгорение сердца у человека о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари<sup>5</sup>. При воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека источают слезы. От великой и сильной жалости, обемлющей сердце, и от великого терпения умалевается сердце его, и не может оно вынести, или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварию. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы сохранились и были они помилованы; а также и об естестве пресмыкающихся молится с великою жалостию, какая без меры возбуждается в сердце его до уподобления в сем Богу [цит. по: Сирин, с. 323–324].

Архетипическим сюжетом, выражающим *милующее сердце*, жалостливую любовь к животным как атрибут святости, стала попу-

<sup>4</sup> В романе «Братья Карамазовы» отец Паисий приводит слова преп. Исаака Сирина именно по этому изданию: «Претерпи смотрительне находящее на ты невольно бесчестие с радостию, и да не смутишия, ниже возненавидиши бесчестящего тя» [т. 14, с. 84]. Ср.: [Святаго отца нашего Исаака Сирина, 2004, с. 57].

<sup>5</sup> В христианской антропологии сердце является средоточием духовной жизни человека: оно «есть корень. <...> ...если корень свят, то и ветви святы, то

лярнейшая в Средние века на Руси и на Западе житийная история об авве Герасиме, «иже на Иордане» (†475), вылечившем и приручившем льва. После смерти старца лев, не вынеся разлуки с ним, умер на его могиле. Эта история вошла в «Луг духовный» (VII в.) Иоанна Мосха (в древнерусской традиции — «Синайский патерик»), процитируем ее по краткой версии жития святого [Бахметева, 1860–1861], которая имела в библиотеке Достоевского [Гроссман, с. 43]:

Рассказывают, что св. Герасим кротостью своею привлекал к себе в пустыне диких зверей. Однажды встретился ему в пустыне раненый лев; он перевязал ему рану, и с тех пор лев везде следовал за ним и служил ему, как домашнее животное. Когда же преподобный скончался, лев долго скучал и наконец умер на его могиле [цит. по: Бахметева, 1997, с. 23].

В христианском сознании служение кроткому святому укрощенного им кроткого льва, носившего воду для монастыря, и их взаимная любовь воспринимаются как райская гармония Адама и животных, утраченная после грехопадения:

Не мог ничего выразить лев словами, но все-таки, волею Божию, прославил старца и при его жизни, и после смерти, показав нам, как послушны были звери Адаму до его грехопадения и изгнания из рая [Жития Святых, кн. 7, с. 85].

Агиографический мотив чудесного служения льва святому присутствует в «длинном рассказе» «Житие Марии Египетской», который

---

есть если сердце доводится до чистоты, то ясно, что очищаются и все чувства» [Сирин, с. 37–38]. Горящее сердце — признак мистического восторга («Воспламенилось сердце мое во мне; в мыслях моих возгорелся огонь; я стал говорить языком моим» (Пс. 38 : 4)) и присутствия Христа, явившегося в неузнанном виде Луке и Клеопе по дороге в Эммаус: «И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» (Лк. 24 : 32). В «Поэме о Великом инквизиторе» люди узнают Христа по Его горящему сердцу: «Солнце любви горит в его сердце, лучи Света, Просвещения и Силы текут из очей его и, изливаясь на людей, сотрясают их сердца ответною любовью»; Христос целует Великого инквизитора, и хотя на уровне рации он «остается в прежней идее», сердце его «горит» любовью Христовой [т. 14, с. 226–227, 239].

странник Макар Иванович рассказывает Аркадию («Подросток», 1875) [см. подробнее: Медведев, 2005, с. 292–293].

В христианстве не только начало истории (Эдем) видится как гармония человека и животных, но и ее завершение (Царствие Божие) выражается образом примирившихся животных и их послушанием ребенку:

Тогда волк будет жить вместе с ягненокм, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому (Ис. 11 : 6–7).

Этот образ возникает в словах Ивана Карамазова о «вечной гармонии», купленной страданием: «Я хочу видеть своими глазами, как лань ляжет подле льва и как зарезанный встанет и обнимется с убившим его» [т. 14, с. 222].

В русской агиографии житийный сюжет об авве Герасиме варьируется в так называемом «чуде о медведе» в Житии преп. Сергия Радонежского (†1392), раскрывая образ праведника через его жалостливую любовь к зверю:

Однажды преподобный Сергий заметил перед своей келлией медведя; видя, что он очень голоден, подвижник *сжалился* над зверем, вынес ему кусок хлеба и положил на пень. С тех пор медведь стал часто приходиться к келлии Сергия, ожидал обычного подаяния и не отходил до тех пор, пока не получал его; преподобный радостно делился с ним хлебом, часто даже отдавал ему последний кусок. И дикий зверь в продолжение целого года каждодневно навещал пустытника [Жития Святых, кн. 1, с. 518] (здесь и далее в цитатах курсив мой, авторский курсив дается полужирным шрифтом. — *А. М.*).

Этот эпизод из Жития преп. Сергия<sup>6</sup> вспоминает старец Зосима как пример того, что «с ними [животными] Христос»: «“в лесу скитается страшный медведь, грозный и свирепый, и ничем-то в том не повин-

---

<sup>6</sup> В черновике романа Достоевский отметил: «Люби *животных, медведь и Сергий*» [т. 15, с. 244]. Идея восходит к образу Тихона из «Жития великого грешника», в котором в январе 1870 г. Достоевский отметил: «Дай Бог доброй ночи нам и всем диким зверям»; «О медведе» [т. 9, с. 136, 138].

ный». И рассказал я ему, как приходил раз медведь к великому святому, спасавшемуся в лесу, в малой келейке, и *умилился* над ним великий святой, бесстрашно вышел к нему и подал ему хлеба кусок: «Ступай, дескать, Христос с тобой», и отошел свирепый зверь послушно и кротко, вреда не сделав. И *умилился* юноша на то, что отошел, вреда не сделав, и что и с ним Христос» [т. 14, с. 268]. Достоевский дважды употребляет слово «умилился», но в первый раз скорее в церковнославянском значении (*Оумилити* — сжалиться, пожалеть [Седакова, с. 373]), близком житийному тексту.

В западной традиции идеал милующего сердца наиболее полно воплотился в образе св. Франциска Ассизского (†1226), обращавшегося к животным как разумным существам, видевшим в них братьев и сестер, и они отвечали ему любовью, становились ручными, послушными. Св. Франциск проповедует Бога «сестрицам пташкам», призывая их «славословить Его», спасает город от огромного свирепого волка и обращает его к Богу (волк становится «кротким, как ягненок», «послушным, как ручной ягненок» [Цветочки св. Франциска, с. 800, 811–812] (аллюзия на «Исаево чудо»)). Св. Бонаventura видит в этом «благочестие, со всякой тварью союз заключившее, *ибо в нем обетование жизни настоящей и будущей* (1 Тим. 4, 8)» [Большая легенда, с. 603].

Отношение Франциска к животным пронизывает именно материнская жалость, сострадание в духе слова преп. Исаака Сирина о милующем сердце (о чем говорит совпадение отдельных образов): «Облекшись в дух милосердия и исполнившись любви, не только к людям, терпящим какую-либо нужду, испытывал он *сострадание*, но и к немым тварям, и даже к птицам и ползучим гадам, ко всякой твари, как наделенной чувствами, так и бесчувственной» [Первое житие, с. 263]. «Жалостливым оком» смотрит он на животных: спасает от продажи горлиц (делает для них гнезда [Цветочки св. Франциска, с. 815]) и ягнят («Когда Франциск услышал отчаянное блеяние ягнят, *взволновалась вся внутренность его от жалости*, и он, подошед, прикоснулся к ним, словно *мать* к расхныкавшемуся младенцу<sup>7</sup>, выражая им свою любовь и сочувствие») [Первое житие, с. 265, 250].

<sup>7</sup> Всепрощающая любовь матери к ребенку выступает в христианстве подобием кенотичной (снисходящей) любви Бога к человеку, что отразилось в цсл. *Благоутробный* (милосердый, милостивый, сострадательный, имеющий доброе

Ключевая для Достоевского тема животных наиболее полно раскрывается в контексте этой христианской традиции милосердия. Откликаясь на 10-летний юбилей «Российского Общества покровительства животным», основанного в 1865 г., писатель отмечал, что любовь к животным призвана «очеловечить», «образить» человека (восстановить в нем образ человеческий), но не должна быть самоцелью, не должна опережать любовь к человеку:

Научившись *жалеть* скотину, мужик станет *жалеть* и жену свою. А потому, хоть я и очень люблю животных, но я слишком рад, что высокоуважаемому “Обществу” дороги не столько скоты, сколько люди, огрубевшие, негуманные, полуварвары, ждущие света! [т. 22, с. 26].

В этом иерархическом восприятии, в котором любовь к животным должна быть в согласии с первой и второй заповедями, Достоевский близок святоотеческой традиции, например, преп. Феодору Студиту (VIII–IX вв.), который, опираясь на слова Христа о подражании милосердию Богу Отцу (Мк. 6 : 36) и слова о праведнике, милующем животных (Притч. 12 : 10), призывает монахов, во-первых, являть «милость взаимно к себе самим», а затем к подъяремным животным: не оставлять их «ненакормленными и ненапоенными, но в свое время и корму им задавайте и на водопой водите»; ненакормленные животные — признак «злых или неразумных» [Святого отца нашего Феодора Студита, сл. 55, гл. 3].

Любовь к животным, по Достоевскому, гуманизирует человека, раскрывает «в человеке человека» [т. 27, с. 65], а жестокость по отношению к ним становится мерилем духовного падения личности. Эта ключевая для писателя мысль звучит уже в автобиографических «Записках из Мертвого дома» (1862), где животным («милая лошадка»

---

сердце (1 Петр. 3 : 8) [Дьяченко, с. 46] — калька с греч. *eusplaghnia* (*splaghnon*), которое означает «материнскую утробу» и «сердце, душу» (*splaghna eleous* — сердечная жалость, милосердие) [Дворецкий, т. 2, с. 1495]: «авторы Ветхого и Нового Заветов видят в любви Бога к людям, в любви Христа к людям, в любви христиан друг к другу черты столь специфического вида любви, как “чревное” материнское жаление» [Аверинцев, 1995, с. 19–20].

Гнедко, собаки Шарик, Белка, Кульпяпка, гуси, козел Васька, орел) посвящена целая глава:

...наши арестантики могли бы любить животных, и если б им это позволили, они с охотой развели бы в остроге множество домашней скотины и птицы. И, кажется, что бы больше могло смягчить, облагородить суровый и зверский характер арестантов, как не такое, например, занятие? [т. 4, с. 189].

О благотворном влиянии животных на детей говорит старец Зосима в черновых набросках к «Братьям Карамазовым»:

Деточки с животными должны воспитываться — с лошадкой, с коровкой, с собачкой. Добрее будут, и осмысленнее станут их души [т. 15, с. 252].

В пронзительно-щемящей главе «Записок» Достоевский выступает как психолог, раскрывающий не только «все глубины» человеческой души [т. 27, с. 65], но и души собачьей. По свидетельству Ш. Токаржевского, Достоевский был «большим любителем животных», особенно собак [Ф. М. Достоевский в воспоминаниях, с. 327]<sup>8</sup>. Описание собак у Достоевского пронизано мотивом л а с к и, л а с к о с е р д и я<sup>9</sup> — чистая, бескорыстная любовь собаки ждет от человека ответной любви: Шарик «ласково встречает каждую партию,

<sup>8</sup> Один из героев Достоевского признается во взаимной любви к собакам: «меня все собаки любят, ей-богу! Я это заметил. Или во мне магнетизм какой-нибудь сидит, или потому, что я сам очень люблю всех животных, уж не знаю, только любят собаки, да и только!» [т. 3, с. 239]. Союзник писателя по каторге запечатлел персонифицированные отношения между Достоевским и его любимым псом Суанго, который ценой своей жизни спас писателя от смерти, выпив молоко, которым его хотели отравить [Ф. М. Достоевский в воспоминаниях, с. 327–328, 332].

<sup>9</sup> В русском языке именно словом «ласка, ласкать» («Ласкать кого, обращаться с кем приветливо, изъявлять нежное участие, расположение, миловать, нежить. Ласкаться к кому, около кого, стараться войти к кому в любовь и милость нежностями и лестью; заискивать, лаская кого; увиваться. Ласковый, приветливый, любовный; дружеский, милостивый и благодушный. Ласкосердый, у кого нежное, мягкое, ласковое сердце») чаще всего обозначается любовь человека и животных: «Собака взласкалась, заласкалась. Поласкай лошадку. Всю парню переласкал. Проласкала все утро кошку» [Даль, с. 199].



вертит хвостом и приветливо засматривает в глаза каждому вошедшему, ожидая хоть какой-нибудь *ласки*. Но в продолжение многих лет она не добилась никакой *ласки* ни от кого, кроме разве меня. За это-то она и любила меня более всех» [т. 4, с. 189];

Никто-то никогда не *ласкал* ее, никто-то не обращал на нее никакого внимания. Еще с первого же дня я погладил ее и из рук дал ей хлеба. Когда я ее гладил, она стояла смиренно, *ласково* смотрела на меня и в знак удовольствия тихо махала хвостом. Теперь, долго меня не видя, — меня, первого, который в несколько лет вздумал ее *приласкать*, — она бегала и отыскивала меня между всеми и, отыскав за казармами, с визгом пустилась мне навстречу. Уж и не знаю, что со мной случилось, но я бросился целовать ее, я обнял ее голову; она вскочила мне передними лапами на плеча и начала лизать мне лицо. <...> ...я спешил за казармы, со скачущим передо мной и визжащим от радости Шариком, обхватывал его голову и целовал, целовал ее, и какое-то сладкое, а вместе с тем и мучительно горькое чувство щемило мне сердце. <...> ...осталось теперь для меня одно существо, меня любящее, ко мне привязанное, мой друг, мой единственный друг — моя верная собака Шарик [т. 4, с. 77].

У Достоевского является важным мотив собачьего в о с т о р г а, бескорыстно-радостной любви собаки к человеку. Так, внутренней речью Достоевский передает «пылкий и *восторженный*» характер Кульпяпки:

...как и всякий щенок, который от радости, что видит хозяина, обыкновенно навизжит, накричит, полезет лизать в самое лицо и тут же перед вами готов не удержать и всех остальных чувств своих: «Был бы только виден *восторг*, а приличия ничего не значат!» Бывало, где бы я ни был, но по крику: «Кульпяпка!» — он вдруг являлся из-за какого-нибудь угла, как из-под земли, и с визгливым *восторгом* летел ко мне, катясь, как шарик, и перекувыркиваясь дорогою [т. 4, с. 190–191].

Жучка «визжала от *восторга*, скакала как полоумная, служила, валилась на землю и притворялась мертвою и проч., словом, показывала все штуки, которым ее обучили, уже не по требованию, а единственно

от пылкости своих *восторженных* чувств и благодарного сердца» [т. 14, с. 466].

В «Записках» Достоевский преодолевает характерное для крестьянского быта восходящее к Ветхому Завету восприятие собаки как нечистого животного: «собака вообще у всего простонародья считается животным нечистым, на которое и внимания не следует обращать» [т. 4, с. 189]. Это ветхозаветное отношение к собаке («Закон») Достоевский снимает новозаветной, христианской любовью-милостью («Благодать»).

Для Достоевского, трогательно раскрывающего «характер» каждой собаки, с которой он был в «постоянной дружбе», они выступают в своей духовной красоте (смирении, кротости, любви и доверчивости) образцом для человека. В записной книжке 1863–1864 гг. Достоевский записал о поразившей его в животных «*правдивости*, наивности»: «Они никогда не притворяются и никогда не лгут» [т. 20, с. 171]. В страдании и униженности собак проступает концепт христианской жертвенности. Искалеченная Белка, по причине своей физической ущербности уже не надеющаяся на ласку не только людей, но и своих собратьев, проявляет глубочайшее смирение:

Оскорбленная судьбою, она, видимо, решила *смириться*. Никогда-то она ни на кого не лаяла и не ворчала, точно не смела. Жила она больше, из хлеба, за казармами; если же увидит, бывало, кого-нибудь из наших, то тотчас же еще за несколько шагов, в знак *смирения*, перекувырнется на спину: «Делай, дескать, со мной что тебе угодно, а я, видишь, и не думаю сопротивляться». <...> Бывало, перекувырнется и лежит *смиренно*, когда какой-нибудь большой вислоухий пес бросится на нее с рыком и лаем. Но собаки любят *смирение* и покорность в себе подобных. Свирепый пес немедленно укрощался...<sup>10</sup> [т. 4, с. 190].

Неожиданно проявленная к Белке жалость, ласка вызывает у собаки чувство умиления:

<sup>10</sup> Увечье — характерный мотив в образе собаки у Достоевского, но не отторгающий, а наоборот усиливающий любовь человека к ней, например, к Культыпке: «Я ужасно полюбил этого маленького уродца» [т. 4, с. 191], у Жучки «глаз кривой и левое ухо надрезано» [т. 14, с. 491].

Я попробовал раз ее *приласкать*; это было для нее так ново и неожиданно, что она вдруг вся осела к земле, на все четыре лапы, вся затрепетала и начала громко визжать от *умиления*. Из *жалости* я *ласкал* ее часто. Зато она и встречать меня не могла без визгу. Завидит издали и визжит, визжит болезненно и слезливо [т. 4, с. 190].

Судьба собак у Достоевского трагична в мире человеческой жестокости: по слову ап. Павла, вся тварь «по воле покорившего ее» человека «совокупно стенает и мучится доныне», с надеждою ожидая от виновника грехопадения своего освобождения от «рабства тления в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8 : 19–22)<sup>11</sup>, но виновник грехопадения не спасает животных, а жестоко их уничтожает. Любимый Достоевским Кульяпка стал жертвой арестанта Неустроева, подложившего содранным с него мехом «бархатные зимние полусапожки» для аудиторши [Там же, с. 191].

Если в «Записках из Мертвого дома» христианские интенции в восприятии животных присутствуют имплицитно, то начиная с «Идиота» (1869), Достоевский уже прямо говорит об одухотворенности творения и духовности животных. В чистой, м и л у ю щ е й душе праведников Достоевского отражается райская, первозданная красота творения и животных («Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5 : 8)). Мир созерцается и переживается ими по-райски преображенным, чудесно возвращенным к своей изначальной чистоте. У Мышкина это выражается «заповедью блаженства»:

Как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его? Говорить с человеком и не быть счастливым, что любишь его! <...> ...а сколько вещей на каждом шагу таких прекрасных, которые даже самый потерявшийся человек находит прекрасными? Посмотрите на ребенка, посмотрите на Божию зарю, посмотрите на травку, как она растет, посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят... [т. 8, с. 459].

---

<sup>11</sup> В «каторжном» Евангелии Достоевского страница с этими словами (с несущественной разницей с современным синодальным переводом) была отмечена загибом угла страницы [Евангелие Достоевского, с. 436].

Брат Зосимы Маркел в умилении («от радости плачет»)<sup>12</sup> переживает мир как сияние райской славы<sup>13</sup>:

Такая Божия слава кругом меня: птички, деревья, луга, небеса, один я жил в позоре, один всё обесчестил, а красоты и славы не приметил вовсе [т. 14, с. 263].

Будущему старцу Зосиме, офицеру Зиновию, отказывающемуся на дуэли от ответного выстрела, открывается райская красота мира, которую он переживает с умилением и восторгом («дух даже у меня захватило, сладостно, юно так, а в сердце такое счастье»):

Посмотрите кругом на дары Божии: небо ясное, воздух чистый, травка нежная, птички, природа прекрасная и безгрешная, а мы, только мы одни безбожные и глупые и не понимаем, что жизнь есть рай, ибо стоит только нам захотеть понять, и тотчас же он настанет во всей красоте своей, обнимемся мы и заплачем... [т. 14, с. 272].

В рассказе странника Макара Ивановича («Подросток», 1875) о паломничестве в Богородский монастырь<sup>14</sup> мистичность (*греч.*

<sup>12</sup> Умиление (греч. *katanuxis*) или радостопечалие (греч. *harmolupe*) — важнейшее в православной аскетике чувство, неотъемлемое свойство умной молитвы, в которой, чтобы не впасть в сомнение от радости, подаваемой ею, необходимо держать плач сокрушенный: «Хранящий такую радостно-печаль избегнет всякого вреда» [Откровенные рассказы, с. 133]. Преп. Иоанн Лествичник поясняет соединение в умилении печали и радости образом медовых сот: плач и печаль «заклучают в себе радость и веселие, как мед заключается в соте» [Иоанн, с. 112–113]. Делание «блаженной радостной печали святого умиления» способно представить человека «чистым Христу» [Иоанн, с. 106]. Умиление Макара Долгорукого Достоевский акцентировал как черту, присущую русской религиозности: «с порывами сентиментальности, но совершенно народной, или, лучше сказать, с порывами того самого общенародного умиления, которое так широко вносит народ наш в свое религиозное чувство» [т. 13, с. 312].

<sup>13</sup> Цсл. *Слава* (греч. *doxa*) означает не только «величие», «великолепие», «красота», но и «яркое сияние» как присутствие Божие.

<sup>14</sup> В названии монастыря ключевой концепт русской религиозности — Богородицы как матери земли, о которой говорит Хромоножка, вспоминая слова старицы «Богородица — великая мать сыра земля» [т. 10, с. 116]). А. Веселовский соотнес образ земли в «Гимне брату Солнцу» св. Франциска с этим русским представлением о матери сырой земле: «“И за нашу мать землю (у слав. нашу мать

mystikos — таинственный), одухотворенность умиленно созерцаемого им пейзажа выражается концептами тайны, милости, созерцания<sup>15</sup>, апофатики<sup>16</sup> («неизреченная»), исихии (в образе тишины)<sup>17</sup>, Святого Духа (через образы легкого воздуха (дыхания), легкого сна), умаления и умиления (уменьшительно-ласкательные суффиксы):

*Тайна что? Всё есть тайна, друг, во всем тайна Божия. В каждом дереве, в каждой былинке эта самая тайна заключена. Птичка ли малая поет, али звезды всем сонмом на небе блещут в ночи — всё одна эта тайна, одинаковая. <...> Заночевали, брате, мы в поле, и проснулся я заутра рано, еще все спали, и даже солнышко из-за леса не выглянуло. Восклонился я, милый, главой, обвел кругом взор и вздохнул: красота везде неизреченная! Тихо всё, воздух легкий;*

---

сыру землю) благодарим тебя Господи, что она носит и кормит нас (ne sostenta e governa) и всякие плоды производит, цветы разные и травы)» [Веселовский, с. 175].

<sup>15</sup> Созерцание (греч. *theoria*) — один из ключевых концептов православного богословия и святости, установка умной (созерцательной) молитвы, цель которой — безмолвное созерцание Бога. Преп. Исаак Сирийский писал о созерцании как «пределе» (цели) молитвы: «Молитва есть сеяние, а созерцание — собирание рукоятей (снопов), при котором жнуший приводится в изумление неизглаголаным видением, как из малых и голых посеянных им зерен вдруг произросли пред ним такие красивые класы» [Сирийский, с. 99].

<sup>16</sup> Апофатика — путь богопознания, исходящий из невыразимости тайны Божией, которая может быть описана только через отрицание.

<sup>17</sup> Исихия (от греч. *hesychia* — «безмолвие сердца») — ключевой концепт исихазма (безмолвничества) — древней мистической и богословской традиции восточно-христианского монашества, в основе которой — творение молитвы Иисусовой. В России возрождение исихазма связано с «отцом русского старчества» Паисием Величковским (конец XVIII в.) и Оптиной Пустынью. Достоевский излагает историю старчества как явления в «Братьях Карамазовых» [т. 14, с. 26–27]. Греческие значения «исихии» («внутреннее безмолвие, молчание, покой») влились в церковнославянское и русское «тихий», звукообраз которого фонетически оказывается ближе к исихии, чем «молчание» и «безмолвие». Преп. Исихий Иерусалимский (V в.) писал о сладостной тишине исихии, сочетающей душу с Иисусом: «непрестанная молитва Иисусова, сладостная без мечтаний тишина ума, и дивное некое состояние, исходящее от сочетания со Иисусом» [Исихий, сл. 7]. [Подробнее см.: Медведев, 2012, с. 29–30].

травка растет — расти, травка Божия<sup>18</sup>, птичка поет — пой, птичка Божия, ребеночек у женщины на руках пискнул — Господь с тобой, маленький человечек, расти на счастье, младенчик! И вот точно я в первый раз тогда, с самой жизни моей, всё сие в себе заключил... Склонился я опять, заснул таково *легко*. Хорошо на свете, *милый!* Я вот, кабы *полегчало*, опять бы по весне пошел. А что *тайна*, то оно тем даже и лучше [т. 13, с. 287, 290].

Прототипом Макара Ивановича в этом эпизоде, вероятно, был скромный оптинский монах о. Палладий (1782–1861)<sup>19</sup>, с детской чистотой удивляющийся премудрости Божией в творении:

<sup>18</sup> Травка — лейтмотивный образ, возникающий в словах Мышкина, Макара Ивановича, Зиновия (старца Зосимы). В черновых материалах к роману присутствует образ молящейся Богу травки: «Каждая травка молится» [т. 16, с. 75], «Каждая травка поет» [т. 16, с. 342]; в одном из вариантов финала («Гимн всякой травке и солнцу» [т. 16, с. 48]) можно увидеть аллюзию на «Гимн брату Солнцу» св. Франциска, который Достоевский мог знать по уже цитируемой статье А. Веселовского: «И за нашу мать землю... благодарим тебя, Господи, что... всякие плоды производит, цветы разные и травы» [Веселовский, с. 175]. Как и у Достоевского, образ травки у св. Франциска и н д и в и д у а л и з и р о в а н, что особенно отражает перевод О. Седаковой: «многоликие цветы и травы» [Франциск, с. 139].

Образ травки можно возвести к повествованию об оптинском монахе о. Палладии и к оде Ф. Шиллера «К Радости» в переводе Ф. И. Тютчева, которую цитирует Дмитрий Карамазов (Радость «травку выманила к свету» [т. 14, с. 99]), а также в образе травки проступает экфрасис европейской религиозной живописи с характерной для нее тщательной разработкой трав и цветов: они изображаются не как условный фон религиозного сюжета (что характерно для иконописи), а н д и в и д у а л ь н о, в частности, на картинах, которые Достоевский видел в галереях: «Морской пейзаж с Адисом и Галатеей» Клода Лоррена (1657. Холст, масло. 102,5 × 136 см. Галерея старых мастеров, Дрезден. Gal. Nr. 731), «Мадонна с щеглом» Рафаэля (1505–1506. Дерево, темпера. 107 × 77 см. Галерея Уффици, Флоренция), «Благовещение» Леонардо да Винчи (Ок. 1475–1480. Дерево, темпера. 98 × 217 см. Галерея Уффици, Флоренция), «Весна» Сандро Боттичелли (Ок. 1482. Дерево, темпера. 203 × 314 см. Галерея Уффици, Флоренция).

<sup>19</sup> Об этом рядовом монахе, проходившем в Оптиной послушания пчельника, пономаря и ризничего [Жизнеописание, с. 381], Достоевский мог знать из очерка о. Климента (Зедергольма) «Иеродиакон Палладий» (Душеполезное чтение. 1875. № 3), а также из книги архим. Леонида (Л. А. Кавелин, 1822–1891) «Историческое описание Козельской Введенской Оптиной Пустыни. Изд. 3-е, доп.» (М.: Тип. В. Готье, 1876. С. 229), которая была в библиотеке писателя [см.: Гроссман, с. 43].

Любил в ясную ночь смотреть на небо, на месяц и звезды и знал годовое положение многих из них. Нередко задумывался, говорил: «Ну где эта звезда была целые полгода? А вот опять явилась и опять уйдет в свое место. Как все у Бога блюдет свой чин!» <...> А ты лучше подивись премудрости Божией, как Господь все устроил, всему повелевает, и все слушает Его... <...> На все отец Палладий смотрел с духовной стороны. Пойдет, например, иногда он в лес: всему удивляется, каждой птичке, мушке, травке, листику, цветочку. Подойдет к какому-либо дереву, сколько о нем разговору, сколько удивления! Удивляется, как все повелением Божиим растет незаметно, как разворачивается лист, как цветет цвет. Говоря об этом, отец Палладий вздыхает, прославляет Творца, как Он обо всем печется, о всем промышляет, всех греет и питает, а мы Его забываем [цит. по: Оптинский патерик].

Как и о. Палладий, Макара Иванович размышляет о научном познании природы, но в отличие от первого<sup>20</sup>, он признает и обосновывает научное познание как заданное человеку Богом: «недаром Бог вдунул в него дыхание жизни: “Живи и познай”. <...> ...сызмлада науку почитал» [т. 13, с. 288].

Прототипом странника Макара Ивановича в его мистическом переживании природы можно считать и оптинского старца — иеросхимонаха Макария (в миру Михаила Николаевича Иванова, 1788–1860). В «Сказании о жизни и подвигах блаженный памяти старца Оптиной пустыни иеросхимонаха Макария» архим. Леонида (Кавелина) (М. : Типография В. Готье, 1861) говорится об особой любви старца к цветам, лесу и о том, что «по временам старец приходил в состояние духовного восторга, особенно при размышлении или в беседе о неизреченных судьбах Промысла Божия, о его великой и присносущной силе и Божестве. <...> ...Прошаживался по скитским усаженным цветами дорожкам и, переходя от цветка к цветку, погружался в созерцание премудрости Творца, от творений познаваемого, что-то тихо напевая про себя» [цит. по: Жизнеописание, с. 56, 78–81].

---

<sup>20</sup> «Но ученых рассуждений о светилах и явлениях небесных отец Палладий не любил. <...> “Монахи оставили землю, полезли на небо”, — то есть оставили плакать о грехах, а рассуждают о том, что совершенно нам не нужно» [цит. по: Оптинский патерик].

Видимо, не случайно имя и отчество старца Макара Ивановича переключаются с монашеским именем и фамилией оптинского старца (в черновиках герой называется «Макар Иванов (Русский тип)», «Древняя святая Русь — Макаровы» [т. 16, с. 117, 121, 128].

Мистическое переживание творения и животных продолжено Достоевским в «Братьях Карамазовых» (1880), где старец Зосима, повествуя о своем странствии по Руси, рассказывает об умиленном созерцании им и «благообразным юношей» первозданной «благолепной» красоты Божьего мира: б л а г о о б р а з и е<sup>21</sup> человека соотносится с б л а г о л е п и е м<sup>22</sup> созерцаемого творения. Пейзаж наполняется христианскими концептами созерцания, умиления (передаваемого уменьшительно-ласкательными суффиксами), исихии (в образе тишины и молчания), «благолепия» (выражаемого в анаграмматическом нагнетании ключевых звуков **л**, **б**, **п**, особенно в фонических сочетаниях **пл/бл/лп**), Святого Духа (через образы тумана, свежести, легкости), молитвы, непостижимой тайны: «И *вижу я, смотрит* он пред собой *умиленно* и ясно. Ночь светлая, *тихая, теплая*, июльская, река широкая, пар от нее *поднимается, свежит* нас, *слегка* всплеснет рыбка, *птички замолкли*, всё *тихо благолепно*, всё *Богу молится*» [т. 14, с. 267]. Этот пейзаж восходит к романтическому описанию осеннего вечера на озере из письма Варвары Алексеевны («Бедные люди»,

<sup>21</sup> Благообразие является константой христоликого героя в творчестве Достоевского: это любимое слово Макара Ивановича Долгорукого выражает его духовный идеал и воплощается в его личности (у почившего странника «спокойный, благообразный лик» [т. 13, с. 392]); «благообразие» праведника духовно изменяет Аркадия Долгорукого. Цсл. *Благообразие* (калька с греч. *eu-schemosyne*) — благопристойность, благочинность — ключевой христианский концепт, выраженный в словах ап. Павла: «*благообразно (eu-schetonos) да ходим...: но облачитесь Господом нашим Иисусом Христом* — будем вести себя благообразно: ...облекитесь в Господа Иисуса Христа» (Рим. 13 : 13–14, пер. еп. Кассиана (Безобразова)). Этот церковнославянизм С. С. Аверинцев относил, наряду с «цело-мудрием» и «благо-лепием», к «ключевым словам традиционной русской этики и эстетики»: образованный по модели двукорневых древнегреческих образований и характерный для «украшенной» византийской гимнографии, он выражает «идею красоты как святости и святости как красоты» [Аверинцев, 1991, с. 53].

<sup>22</sup> Цсл. *Благолепие* — калька с греч. *eu-prepeia* (красивый вид, красота, изящество) [Дворецкий, т. 1, с. 704].



1846), пронизанного теми же устойчивыми мотивами света, чистоты, тишины, свежести, созерцания на берегу водного источника, птичек, всплеснувшей рыбки, легкости, тумана<sup>23</sup>, но в «Братьях Карамазовых» эти типично романтические мотивы наполняются христианскими концептами.

Созерцание одухотворенной природы переходит в размышление о ее красоте и премудрой гармонии, которые выражаются концептами тайны и м и л у ю щ е г о с е р д ц а , горящего любовью к творению:

И разговорились мы о красе мира сего Божьего и о великой тайне его. Всякая-то травка, всякая-то букашка<sup>24</sup>, муравей, пчелка золотая, все-то до *изумления* знают путь свой, не имея ума, *тайну Божию* свидетельствуют, непрерывно совершают ее сами, и, вижу я, *разгорелось сердце*<sup>25</sup> милого юноши [т. 14, с. 267].

<sup>23</sup> «Это озеро, — я как будто *вижу* его теперь, — это озеро было такое широкое, *светлое, чистое*, как хрусталь! Бывало, если вечер *тих*, — озеро *покойно*; на деревьях, что по берегу росли, не шелохнет, вода неподвижна, словно зеркало. *Свежо!* холодно! Падает роса на траву, в избях на берегу засветятся огоньки, стадо пригонят — тут-то я и ускользну *тихонько* из дому, чтобы *посмотреть* на мое озеро, и *засмотрюсь*, бывало. Какая-нибудь вязанка хворосту горит у рыбаков у самой воды, и свет далеко-далеко по воде льется. Небо такое холодное, синее и по краям разведено всё красными, огненными полосами, и эти полосы всё бледнее и бледнее становятся; выходит месяц; воздух такой звонкий, порхнет ли испуганная пташка, камыш ли зазвенит от *легонького* ветерка, или *рыба всплещет* в воде, — всё, бывало, слышно. По синей воде встает белый *пар*, тонкий, прозрачный» [т. 1, с. 83].

<sup>24</sup> Образ восходит к замыслу «Житие великого грешника», в котором в январе 1870 г. Достоевский отметил: «О букашках и о вселенской радости *живой жизни*: вдохновенные рассказы Тихона» [т. 9, с. 138].

<sup>25</sup> Стилистический источник этой фразы — не только преп. Исаак Сирийский, но также имевшееся в библиотеке Достоевского «Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле постриженника святыя Горы Афонския Инока Парфения. В 4 ч.» (2-е изд. М., 1856): «И так мы препроводили всю ночь до самой утрени в духовных беседах; и мы собеседников наших возлюбили, аки самых ближайших родственников или друзей, за их любовь и страннолюбие, и за их монашескую простоту и добросердечие. *И возгорелось мое сердце любовью к духовнику Арсению*» [Парфений, с. 325].

Прототипом Зосимы в этом эпизоде также можно считать о. Палладия<sup>26</sup>.

В восторге Зосимы перед апофатической непостижимостью премудрого творения проступает и радостное созерцание природы св. Франциском Ассизским, в Житии которого говорится о его невыразимой радости перед премудростью Божьего творения:

Кто сумеет рассказать, с какой радостью и наслаждением наблюдал он в творении мудрость Творца, всесилие Его и милосердие? Часто это созерцание исполняло его радостью дивной, несказанной, когда он глядел на Солнце, когда созерцал Луну, звезды и твердь небесную. О простодушное благочестие, о благочестивая простота! [Второе житие, с. 266].

Францисканский мотив в образе Зосимы не является надуманным: в финале главы «Великий инквизитор» (Книга пятая. Pro и contra) Зосима именуется Иваном Карамазовым одним из имен Франциска Ассизского («Pater Seraphicus» — «серафический отец»<sup>27</sup>), таким образом напрямую соотносясь с ним, а Алеша видит в Зосиме — серафическом отце — спасителя от демонизма, развернутого Иваном в поэме об инквизиторе: «Вот и скит, Господи! Да, да, это он, это Pater Seraphicus, он спасет меня... от него и навеки!» [т. 14, с. 298]. Демонической философии Великого инквизитора Достоевский противопоставил христоликий образ Зосимы, его житие и поучения в «кульминационной» шестой книге («Русский инок»), которую в письме к Н. А. Любимову от 8 июля 1879 г. он первоначально назвал «Pater

<sup>26</sup> Первым на это в 1963 г. указал с. И. Фудель [Фудель, с. 107] в связи со словами Зосимы («Любите всё создание Божие, — учит он, — и целое и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч Божий любите» [т. 14, с. 289]) и князя Мышкина («каждая «маленькая мушка, которая жужжит около него в горячем солнечном луче, во всем этом хоре участника: место знает свое, любит его и счастлива»; каждая-то травка растет и счастлива! И у всего свой путь, и всё знает свой путь, с песнью отходит и с песнью приходит» [т. 8, с. 351–352]). Позже В. Е. Ветловская соотнесла рассказ Зосимы с повествованием об о. Палладии [т. 15, с. 566].

<sup>27</sup> Этим именем св. Франциск назван в память о явившемся ему в образе серафима (*др.-евр.* «пламенный») Распятого Христа, от Которого он получил стигматы.

Seraphicus»: «Но важное *для меня* в том, что эту будущую 6-ю книгу (“Pater Seraphicus”, “Смерть старца”) я считаю кульминационной точкой романа» [т. 30<sub>1</sub>, с. 75, 97].

Образы Зосимы и Франциска объединяет такая сущностная христианская черта, как «духовная радость» (лат. *Laetitia spiritualis*), которую, как говорит Зосима, «лишь праведный обретает» [т. 14, с. 292]. Эта духовная радость изливается и на творение: «исполнившись великой радости», Франциск проповедует птицам: «А птички, к которым он обращался, называя их братьями, дивным образом выражали свою радость» [Первое житие, с. 248]; преподнесенной ему птичке св. Франциск «возрадовался о ней в Господе», «птичка, получив разрешение с благословением, улетела, движениями тела подавая знаки радости» [Второе житие, с. 473]. Брат Зосимы, Маркел, лик которого, «веселый, радостный» [т. 14, с. 261], прося у птичек прощения, обращается к ним, как и Франциск, в уменьшительно-ласкательной форме (ит. *Sirocchie mie uccelli* — букв. «Сестрички мои, птицы», в пер. А. Печковского — «Сестрицы мои пташки» [Цветочки св. Франциска, с. 800]): «прилетели ранние птички, гогочут, поют ему в окна. И стал он вдруг, глядя на них и любуясь, просить и у них прощения: “Птички Божии, птички радостные, простите и вы меня, потому что и пред вами я согрешил”» [т. 14, с. 263]. У Достоевского францисканский мотив соединяется с пасхальным («Дни наступили светлые, ясные, благоуханные, Пасха была поздняя» [т. 14, с. 261]), акцентируя древнюю христианскую идею пасхального сорадования животных<sup>28</sup>.

В. Е. Ветловская в 1983 г. отметила мотивы, сближающие образы Зосимы и Франциска: проповедь любви, обнимающей собой все творение («и целое и каждую песчинку»); Маркел, просящий прощение

<sup>28</sup> У преп. Феодора Студита (VIII–IX вв.) пасхальная радость животных, празднующих Воскресение Христово, выступает примером и для человека: «К празднику Воскресения Христова и вся тварь, как бы мертвость некую, зимний печальный покров отложив, расцветает опять и как бы оживает: земля покрывается зелению, деревья листьями, животные скачут играя, море успокоилось, и все преобразилось в лучшее состояние. <...> ...что если бездушные и бессловесные твари так сорадуются пресветлому Воскресению, и такой праздничный принимают вид, не тем ли паче мы, разумом и образом Божиим почтенные, должны благоукрашать себя доброю жизнью и благоухать духом?» [Святого отца нашего Феодора Студита, сл. 229, гл. 1].

у птичек, и Франциск, который с тем же «чувством восторга и любви к жизни» проповедовал птицам («Братья мои, птички небесные...»); иерархическое построение «Гимна брату Солнцу» Франциска (начинающая с солнца (подателя жизни) и кончая радостным ожиданием смерти, «все сущее равно вызывает чувство восторженного умиления, хвалы и благодарности») и благословение Зосимой восхода солнца и заката как предчувствие ухода к Богу [Ветловская, с. 348–351]. При этом Ветловская приводит как источник, которой мог быть известен Достоевскому, популярную французскую книгу о Франциске Антуана Фредерика Озанам (Ozanam A. F. Saint François // Ozanam A. F. Oeuvres completes. Vol. 5. Ed. 2. Paris, 1859):

Благодаря невинности и детской простоте души, пишет Озанам вслед за Фомой Челанским, Франциск находился как бы в положении первого человека, которому только что открылся мир; и, не отделяя себя от прочих созданий, он воспринимал их с братской нежностью и пониманием; «...эти создания, в свою очередь, отвечали ему таким же повиновением, как и первому человеку, и ради него возвращались к порядку, разрушенному грехопадением» [Ветловская, с. 349].

И. Попова раскрывает францисканские коннотации «ослиной темы» в романе «Идиот», а в самом Мышкине видит последователя Франциска Ассизского, «впитавшего францисканские идеи “доброй человечности”, “духовной веселости”, ими излечившегося в Швейцарии, вернувшегося их проповедовать в Россию» [Попова].

Аллюзию на «Гимн брату Солнцу» можно увидеть в черновых материалах к роману «Подросток», где в качестве одного из вариантов финала записано: «Гимн всякой травке и солнцу» [т. 16, с. 48]. Зосиму и Франциска сближает с е н т и м е н т а л ь н о е переживание природы. О «сентиментальном чувстве природы» в христианстве, которое наиболее ярко выразилось в «Гимне брату Солнцу» св. Франциска, писал А. Веселовский (его статью можно считать одним из источников в создании образа Зосимы): Франциск «весь в нее погрузился: “Да похвален будет Господь Бог мой со всеми творениями, наипаче с батюшкой братцем солнцем (Messer lo frate Sole); в нем он нам светит и подает день, в нем, прекрасном, в полном блеске светящем, во свидетельство твое, Господи. Похвалим Господа за луну сестрицу (sour Luna) и за звезды: он создал их в небе, светлые

и прекрасные. За братца ветра, и за воздух, за облако, за ясную погоду и всякую другую да похвален будет Господь, который дает ими жизнь всем творениям. Похвален буди Господи за сестру воду, низменную, полезную, драгоценную, чистую (la quale e molto utile, e humele, e preciosa, e casta)... и за братца огня, которым ты освещаешь ночь, за прекрасного, могучего, веселого (e ello e bello, e jocundo, e robustissimo, e forte). И за нашу мать землю (у слав. нашу мать сыру землю) благодарим тебя Господи, что она носит и кормит нас (ne sostenta e governa) и всякие плоды производит, цветы разные и травы)» [Веселовский, с. 175].

Зосима, как и Макар Иванович, в состоянии восторга, разгоревшимся любовью чистым сердцем созерцает первозданную, «благолепную» красу Божьего мира, славу Божию, разлитую сиянием по всей твари; это мистическое откровение выражается концептами созерцания, благообразия («лики»), кротости<sup>29</sup>:

*Посмотри... на коня, животное великое, близ человека стоящее, али на вола, его питающего и работающего ему, понурого и задумчивого, посмотри на лики их: какая кротость, какая привязанность к человеку, часто бьющему его безжалостно<sup>30</sup>, какая незлобивость,*

<sup>29</sup> Кротость — одна из высших христианских добродетелей: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 5 : 5). Греч. *praos* (кроткий) означало и прирученного животного: «1) нежный, мягкий, тихий; 2) несильный, легкий; 3) кроткий, ласковый; 4) спокойный, сдержанный; 5) ручной, прирученный; 6) успокоительный» [Дворецкий, т. 2, с. 1364].

<sup>30</sup> Безжалостное избиение лошади отсылает к «некрасовским» описаниям («О погоде», 1859) жестокого убийства лошади в сне Раскольникова («ему так жалко, так жалко на это смотреть» [т. 6, с. 47]) и избиения лошади в рассказе Ивана Карамазова с цитатой некрасовской строки («и по плачущим, кротким глазам»): «“У Некрасова есть стихи о том, как мужик сечет лошадь кнутом по глазам, по кротким глазам”. Этого кто ж не видал, это русизм. <...> Клячонка рвется, и вот он начинает сечь ее, беззащитную, по плачущим, по “кротким глазам”» [т. 14, с. 219]. Великий инквизитор говорит о «кротких глазах» Христа: «И что ты молча и проникновенно глядишь на меня кроткими глазами своими?» [т. 14, с. 234].

Близкая этому сюжету ситуация описана в московском Дневнике В. Ф. Одоевского (26 июля 1862 г.), возмущенного жестоким отношением к лошади и говорящего о необходимости как закона, так и церковной проповеди на слова о

какая *доверчивость* и какая *красота*<sup>31</sup> в его *лице*. Трогательно даже это и знать, что на нем нет никакого греха, ибо всё совершенно, всё, кроме человека, безгрешно, и с ними Христос еще раньше нашего [т. 14, с. 267–268].

Примером того, что «с ними Христос», старец Зосима вспоминает «чудо о медведе» из Жития преп. Сергия. Мотивы чуда, тишины, сладости<sup>32</sup>, сна, легкости, покоя (мира), света выражают нисхождение благодати на умилившегося этим чудом юношу:

«Ах, как, говорит, это хорошо, как всё Божие хорошо и *чудесно!*» Сидит, задумался, *тихо* и *сладко*. Вижу, что понял. И заснул он подле меня *сном легким*, безгрешным. Благослови Господь юность! И помолился я тут за него сам, отходя ко сну. Господи, пошли *мир* и *свет* твоим людям! [т. 14, с. 268].

Это восприятие духовной красоты животных (их глубочайшего смирения, кротости, любви и доверчивости) как образца для человека, утратившего, в отличие от животных, свое «естественное состояние», восходит к аскетической традиции, в частности, к преподобному авве Исае (IV в.): «Бессловесные животные сохранили свою природу, а человек природу свою изменил. Теперь, как подчиняется скот человеку, так должен всякий человек подчиняться ближнему ради Бога: ибо на сие пришел Господь» [Слова преподобного аввы Исаи, сл. 8, гл. 12]. Образцами духовности животные выступают и у св. Франциска Ассизского: святой «радовался и дивился» «вниманию и доверчивости» птиц, которым проповедовал [Цветочки св. Франциска, с. 800]. В этом Франциск продолжил евангельскую традицию

---

милующем праведнике в «Книге притчей Соломоновых» (Притч. 12 : 10) [Одоевский, с. 154].

<sup>31</sup> В «Записках из Мертвого дома» рассказчик, кормя Гнедка хлебом, отмечает его «красивую морду»: «Как-то приятно было смотреть в его красивую морду и чувствовать на ладони его мягкие, теплые губы, проворно подбирившие подачку» [т. 4, с. 189].

<sup>32</sup> «Сладостность» в исихастской традиции — действие Святого Духа, проявление Благодати, например, в Житии преп. Сергия Радонежского Епифания Премудрого: благодать «усладила сердце его сладостью духовной», в пустыни преподобный вкусил «Божественной сладости безмолвия» [Житие Сергия Радонежского, с. 305, 307].

духовной символики животных: «невинные» горлицы — «чистые, смиренные и верные души» [Цветочки св. Франциска, с. 815]; смирение ягненка уподобляется смирению Христа — кротчайшего Агнца; тихая и смиренная овечка среди коз и козлов сравнивается с «кротким и смиренным сердцем» Христом, ходившим среди фарисеев и первосвященников [Первое житие, с. 263–264].

Ближайшим по времени прототипом Зосимы в его милующем сердце можно также считать Макария Оптинского. В главе о душевных свойствах и духовных благодатных дарованиях старца Макария приводятся его слова о животных («Я всех люблю: и птичек люблю, и коровок люблю, и лошадок люблю») и строгий выговор, который он сделал монаху, сильно утомившему лошадей «скорою ездой», «объявив все неприличие для инока ради удовлетворения своей личной прихоти или из тщеславия относиться с жестокостью к бессловесным животным, вопреки Св. Писанию, которое называет блаженными тех, кто милует и скотов» [цит. по: Жизнеописание..., с. 52]. Свидетельством «большой сострадательности ко всякой бессловесной твари» является то, что «в зимнее время, сожалея об остающихся без пищи птичках, старец, по своему обыкновению, приказывал келейникам сыпать для них ежедневно на приделанную извне к окну его келлии полочку конопляных семян. И довольно количество синичек, коноплянок и маленьких серых дятлов слеталось пользоваться благодеянием старца» [цит. по: Жизнеописание..., с. 53]. В декабре в одном из своих писем старец писал:

У меня бывает всякий день много гостей пернатых. К окну приделана полочка, и сыплем зерен разных. Прилетают разного рода птички: синички, воробьи, иваньчики (мелкие серые дятлы), сойки и другие. И всякая своим манером кормится. Естественная наука в натуре, и видна творческая сила и премудрость [цит. по: Жизнеописание..., с. 80].

В словах Зосимы Достоевский применяет к коню и волу высокий церковнославянизм «лик», означающий лицо святого на иконе, и в этом — как иконологическое восприятие мира в целом, так и экфрастическая отсылка к иконографическому сюжету Рождества

Христов, где присутствуют кони (на которых волхвы едут за Звездой), вол, осел (стоящие у яслей с рожденным Христом — «с ними Христос»):

К яслям были привязаны вол и осел, дабы исполнилось Писание: *позна волю стяжавшаго и, и осель ясли господина своего*<sup>33</sup>. А эти вол и осел приведены были Иосифом из Назарета. Осел приведен был ради беременной Девы, чтобы везти Ее на себе во время пути, а вола привел Иосиф для того, чтобы продать его и отдать должную дань, взимавшуюся по повелению кесаря, а также и для себя купить все нужное. Оба эти бессловесные животные, стоя у яслей, своим дыханием согревали Младенца по случаю тогдашняго зимняго времени, и таким образом служили своему Владыке и Творцу [Жития святых, кн. 4, с. 687].

Сюжет «Поклонение волхвов» с одухотворенными образами вола, осла и лошадей многообразно представлен в европейской живописи, которую Достоевский мог видеть в Галерее Уффици (Флоренция) на полотнах Джентиле да Фабриано<sup>34</sup>, Доменико Бигорди (Гирландайо)<sup>35</sup>, Герарда Давида<sup>36</sup>.

В состоянии восторга Зосиме открывается невидимое — не только духовная красота животных («лики»), но и устремление твари к Логосу («всё создание и вся тварь, каждый листик устремляется к Слову, Богу славу поет»<sup>37</sup>) [т. 14, с. 268]. Достоевский художественно выразил патристическое учение о логосности творения (св. Василий

<sup>33</sup> «Вол знает владетеля своего, и осел — ясли господина своего; а Израиль не знает [Меня], народ Мой не понимает» (Ис. 1 : 3).

<sup>34</sup> Поклонение волхвов. 1423. Дерево, темпера. 300 × 282 см. Галерея Уффици, Флоренция.

<sup>35</sup> Поклонение волхвов. 1487. Дерево, темпера. Диамет. 172 см. Галерея Уффици, Флоренция; в Уффици с 1790 г.

<sup>36</sup> Поклонение волхвов. Ок. 1490. Холст, темпера. 95 × 80 см. Галерея Уффици, Флоренция; в Уффици с 1845 г.

<sup>37</sup> Этот мотив молитвы творения звучит у св. Василия Великого (IV в.), писавшего о том, что «ликостояние твари и по вложенным в нее законам (логосам) стройно возносит песнопение Творцу» [цит. по: Киприан, с. 328]. В состоянии духовного восторга старец Макарий Оптинский пел песнопение: «*Покрываяя водами превыспренняя Своя, полагаяя морю предел песок и содержай вся, Тя поет солнце, Тя славит луна, Тебе приносит песнь вся тварь, яко Содетелю и Творцу*



Великий, св. Григорий Богослов, св. Григорий Нисский, Ареопагитики, св. Максим Исповедник): созданное Логосом Божиим прекрасное Творение в присущей ему гармонии и стройности несет в себе Его «отпечаток» (Кол. 1 : 15–17); в тварных вещах — отблески «посеянных» Богом в творении архетипических «логосов» (предвечные прообразы, «иконы», парадигмы вещей), которыми держится мир и которые устремлены к Божественному первоисточнику — Логосу-Христу [см.: Киприан, с. 262, 300, 327–334]. Это видение логосов в творении архим. Киприан (Керн) определил как «символический реализм» — восхождение от видимых вещей к невидимым, иному бытию. Патристическую метафору о посеянных в творении логосах Достоевский развернул в образ сада в известных словах Зосимы:

Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой, и возшло всё, что могло взойти, но возвращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным [т. 14, с. 290].

Видение творения в его изначальной чистоте («ведение логосов твари»<sup>38</sup>) подвижник получает в умной молитве, созерцая творение, как в зеркале, световидным<sup>39</sup>. Горящее любовью сердце видит Вселенную, пронизанную лучами, «энергиями» Логоса-Любви. О логосности творения говорится в популярной анонимной книге середины XIX в. «Откровенные рассказы странника», являющейся «руководством» по «умной молитве»:

Когда при сем я начинал молиться сердцем, все окружающее меня представлялось мне в восхитительном виде: древа, травы,

---

*во веки*» (Трипеснец в Великий четверг, на повечерии, песнь 8)» [цит. по: Жизнеописание..., с. 56].

<sup>38</sup> Само выражение восходит к преп. Максиму Исповеднику (VII в.), который призывал к «исследованию этих духовных логосов видимых тварей» и к «созерцанию духовных логосов познаваемого» [цит. по: Киприан, с. 330].

<sup>39</sup> А. Ф. Лосев, раскрывая в этом описании «видение твари как чуда», приводит слова из «Жизни преп. Григория Синаита» о чудесном преобразении твари в состоянии восторга, «мистически-умном восхождении»: «Совершающий в духе восхождение к Богу как бы в некотором зеркале *созерцает всю тварь световидною*» [Лосев, с. 563–566].

птицы, земля, воздух, свет, все как будто говорило мне, что существуют для человека, свидетельствуют любовь Божию к человеку и *все молится, все воспевает славу Богу*. И я понял из сего, что называется в Добротолюбии «введением словес твари», и увидел способ, по коему можно разговаривать с творениями Божиими. <...> ...я также опытно узнал, что значит рай, и каким образом разверзается царство Божие внутри сердец наших. <...> ...все было мне как родное, на всем я находил изображение имени Иисуса Христа [Откровенные рассказы, с. 43, 96, 107].

Это восторженное переживание логосности творения близко созерцанию христаликими праведниками Достоевского (Мышкин, Макар Иванович, Маркел, Зосима) по-райски преображенной, изначально чистой природы<sup>40</sup>.

В гимне всеобъемлющей любви<sup>41</sup> к творению Божию от «целого» до «песчинки» старец Зосима говорит о постижении любовью<sup>42</sup> «тайны Божией» в земных «вещах»:

Любите всё создание Божие, и целое и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч Божий любите. <...> Животных любите: им Бог дал начало мысли и радость безмятежную. Не возмущайте же ее, не мучьте их<sup>43</sup>, не отнимайте у них радости, не противьтесь мысли

---

<sup>40</sup> Сходство описания «земного рая» у Достоевского с «описанием молитвенного созерцания всего земного и преображения земли в некий рай» в «Откровенных рассказах странника» отметил в 1929 г. Р. В. Плетнёв [Плетнёв, 2007, с. 156–157].

<sup>41</sup> Первая фраза этого гимна о кенотической любви Бога ко грешнику («Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие Божеской любви и есть верх любви на земле») восходит к преп. Исааку Сирину: «Люби грешников, но ненавидь дела их и не пренебрегай грешниками за недостатки их, чтобы самому не быть искушённым в том же, в чём искусились они» [Сирин, с. 468].

<sup>42</sup> Эта идея познания любовью присутствует и в «Сне смешного человека» (1877), где люди на райской планете живут в пантеистическом слиянии с природой, ощущая ее не рациональным, а «живым путем»: «У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и непрерывное единение с Целым вселенной» [т. 25, с. 113–114].

<sup>43</sup> В «Сне смешного человека» люди после «грехопадения» «стали мучить животных, и животные удалились от них в леса и стали им врагами» [т. 25, с. 116].

Божией. Человек, не возносись над животными: они безгрешны, а ты со своим величием гноишь землю своим появлением на ней и след свой гнойный оставляешь после себя — увы, почти всяк из нас! [т. 14, с. 289].

Неоднократно повторяемая Зосимой мысль о греховности человека и безгрешности природы («всё, кроме человека, безгрешно» [т. 14, с. 267–268]) близка мыслям А. Веселовского в уже цитируемой статье о дохристианском, пантеистическом единении человека с безгрешной природой (природа сохранила в себе чистоту, которую человек утратил после грехопадения): «В древнем мире человек стоял в природе, вместе с нею, не отделяясь от нее, и она отвечала на его расспросы. Тогда звери еще говорили, растения жили человеческой жизнью и так же плакали и радовались, как обыкновенные люди. Христианство изменило эти отношения, лишив природу ее богатой индивидуальной жизни, поставив человека вне окружающего его мира. Он стал выше его, потому что выше в ряду существующего, но с другой стороны на нем одном лежала печать первого греха, он вышел из общего единства жизни и перестал понимать тайны творения. Природа сделалась для него загадкой, с тех пор как он святоотатски коснулся заповедного дерева; то знание, которое он в ней так жадно искал, навеки скрылось от него в грехопадении. И она начинает бежать от самого себя в природу, к зеленой “матери пустыне”, как поэтически выражаются наши духовные стихи; чистая от первородного греха, она продолжает славословить Бога в пении птиц, в шуме вековой чащи, и он спешит слиться с нею в пантеистическом поклонении» [Веселовский, с. 175].

Таким образом, глубинный смысл ключевой для Достоевского темы животных раскрывается в контексте «большого времени» — христианской традиции м и л у ю щ е г о с е р д ц а, которую писатель продолжает и представляет в русской литературе XIX в. наиболее концептуально.

Эта глубинная перспектива древней христианской традиции в его текстах присутствует прямо (цитатами и аллюзиями на библейские, святоотеческие, агиографические, иконографические источники) и в свернутом виде — в ключевых христианских концептах (милость, горящее сердце, смирение, жертва, созерцание, тайна, апофатика,

исихия, благолепие, благообразие, радость, умиление, кротость, сладостность, Логос и др.). В русле этой традиции милующего сердца Достоевский раскрывает глубочайшую метафизику животных, первоизданную райскую гармонию человека и животных, утраченную после грехопадения.

М и л у ю щ е е с е р д ц е, горящее любовью к творению, — константа христороликого праведника у Достоевского, проявление кенотического христианского гуманизма, который писатель видел как в православном образе святости (преп. Сергей Радонежский, Макарий Оптинский, о. Палладий, инок Парфений), так и в католическом (св. Франциск Ассизский), и, соединяя, сплавливая их в своем художественном сознании, создавал образы «чистого, идеального христианина» [т. 30<sub>1</sub>, с. 68].

---

*Аверинцев С. С.* Византия и Русь: два типа духовности // Аверинцев С. С. Другой Рим : избр. ст. СПб., 2005.

*Аверинцев С. С.* Крещение Руси и путь русской культуры // Русское зарубежье в год тысячелетия крещения Руси : сборник. М., 1991.

*Аверинцев С. С.* ΕΥΣΠΛΑΓΧΝΙΑ // Альфа и Омега. 1995. № 1 (4).

*Бахметева А. Н.* Жития святых для детей. Март-апр. М., 1997.

[*Бахметева А. Н.*] Избранные жития святых, кратко изложенные по руководству Четьих-Миней, по месяцам : в 12 кн. М., 1860–1861.

*Бахтин М. М.* Ответ на вопрос редакции «Нового мира» // Бахтин М. М. Собр. соч. : в 7 т. М., 2002. Т. 6.

Большая легенда (Житие св. Франциска Ассизского), составленная св. Бонавентурой из Баньореджо / пер. О. А. Седаковой // Истоки францисканства : Святой Франциск Ассизский: писания и биографии. М., 1996.

*Буданова Н.* Книги, подаренные Ф. М. Достоевскому в Оптиной пустыни // Россия в красках : интернет-портал. URL: <http://tricolor.org/history/cu/lit/4/optin/> (дата обращения: 09.06.2014).

*Веселовский А.* Данте и символическая поэзия католичества // Вестн. Европы. 1866. Дек. Т. 4.

*Ветловская В. Е.* Pater Seraphicus // Ветловская В. Е. Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». СПб., 2007.

Второе житие св. Франциска Ассизского, составленное Фомой Челанским / пер. Л. Сумм // Истоки францисканства : Святой Франциск Ассизский: писания и биографии. М., 1996.

- Гроссман Л. П.* Семинарий по Достоевскому : Материалы, библиография и комментарии. М. ; Пг., 1923.
- Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. М., 2001. Т. 2.
- [*Дворецкий И. Х.*] Древнегреческо-русский словарь : в 2 т. / сост. И. Х. Дворецкий. М., 1958.
- Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников : в 2 т. М., 1990. Т. 1.
- Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений : в 30 т. Л., 1972–1990.
- Дьяченко Г., священник.* Полный церковнославянский словарь. Репр. воспр. изд. (М. : Тип. Вильде, 1899). М., 1993.
- Евангелие Достоевского : Личный экземпляр Нового Завета 1823 г. издания, подаренный Ф. М. Достоевскому в Тобольске в январе 1850 г. : в 2 т. М., 2010. Т. 1.
- Жизнеописание оптинского старца иеросхимонаха Макария. М., 1997.
- Житие Сергия Радонежского / пер. М. Ф. Антоновой и Д. М. Буланина // Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1999. Т. 6.
- Жития Святых, на русском языке изложенные по руководству Четых-Миней св. Димитрия Ростовского : в 12 кн. Репр. воспр. изд. (М. : Синодальная типография, 1903–1911). Киев, 2004.
- Иже во святых отца нашего аввы Исаака Сириянина, подвижника и отшельника, бывшего епископом христоролюбивого града Ниневи, Слова подвижнические. М., 1854.
- Иоанн, преп., игумен Синайской горы.* Лествица. М., 2004.
- Исихий, пресвитер Иерусалимский, преп.* К Феодулу душеполезное и спасительное слово о трезвении и молитве // Добротолюбие в русском переводе, дополненное [в 5 т.]. М., 1895–1905. Т. 2.
- Киприан (Керн), архим.* Антропология св. Григория Паламы. Париж, 1950.
- Лосев А. Ф.* Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М., 1990.
- Медведев А. А.* «Великая из великих»: житие преп. Марии Египетской в художественном сознании Ф. М. Достоевского // Вестн. рус. христиан. движения. Париж ; Нью-Йорк ; М., 2005. № 1 (189).
- Медведев А. А.* Тишина как духовный концепт в творчестве В. В. Розанова // Вестн. Костромского гос. ун-та им. Н. А. Некрасова. Сер. Гуманитар. науки: Энтелехия, 2012. № 25.
- Одоевский В. Ф.* «Текущая хроника и особые происшествия» : дневник 1859–1869 гг. // Лит. наследство. М., 1935. Т. 22–24.

- Оптинский патерик / сост. монахиня Иулиания (Самсонова). Саратов, 2006. URL: <http://lib.eparhia-saratov.ru/books/noauthor/optpaterik/47.html> (дата обращения: 09.06.2014).
- Откровенные рассказы странника духовному отцу своему. Оптина Пустынь, 1991.
- Парфений (Агеев), инок.* Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле : в 2 т. М., 2008. Т. 1 (ч. 1, 2).
- Первое житие св. Франциска Ассизского, составленное Фомой Челанским / пер. Л. Сумм // Истоки францисканства : Святой Франциск Ассизский: писания и биографии. М., 1996.
- Плетнёв Р. В.* Земля : (Из работы «Природа в творчестве Достоевского») // Вокруг Достоевского : в 2 т. Т. 1. О Достоевском : сб. ст. под ред. А. Л. Бема. М., 2007.
- Плетнёв Р. В.* О животных в творчестве Достоевского // Новый журн. 1972. № 106. Март.
- Попова И.* Другая вера как социальное безумие частного человека («Крик осла» в романе Ф. М. Достоевского «Идиот») // Вопр. лит. 2007. № 1. URL: <http://magazines.russ.ru/voplit/2007/1/po9.html> (дата обращения: 09.06.2014).
- Седакова О. А.* Словарь трудных слов из богослужения : церковнославяно-русские паронимы. М., 2008.
- Святого отца нашего Исаака Сирина, епископа бывшего ниневийского, Слова духовно-подвижническия, переведенныя с греческаго старцем Паисием Величковским. Издание Козельской Введенской Оптиной Пустыни. М., 1854.
- Святого отца нашего Исаака Сирина Слова духовно-подвижническия. Репр. воспр. изд. Козельской Введенской Оптиной Пустыни (М. : Университетская типография, 1854). Свято-Введенская Оптина Пустынь, 2004.
- Святого отца нашего Феодора Студита подвижническия монахам наставления // Добротолюбие в русском переводе, доп. [в 5 т.]. М., 1895–1905. Т. 4.
- Сирин Исаак, преп.* Слова подвижническия. М., 2002. Текст печатается по изд.: Иже во святых отца нашего аввы Исаака Сириянина, подвижника и отшельника, бывшего епископом христоролюбивого града Ниневии, Слова подвижническия. М., 1854.
- Слова преподобного аввы Исаяи к своим ему ученикам // Добротолюбие в русском переводе, доп. [в 5 т.]. М., 1895–1905. Т. 1.

- Фудель С. И. Наследство Достоевского // Фудель С. И. Собр. соч. : в 3 т. М., 2005. Т. 3.
- Цветочки святого Франциска / пер. А. П. Печковского // Истоки францисканства : Святой Франциск Ассизский: писания и биографии. М., 1996.
- Франциск Ассизский, св. Песнь брата Солнца / пер. О. Седаковой // Истоки францисканства : Святой Франциск Ассизский: писания и биографии. М., 1996.

УДК 821.161.1 + 27-18

Л. Р. Клягина

## РЕЛИГИОЗНАЯ СИМВОЛИКА В ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ РУССКОЙ КЛАССИКИ

Современное искусство, обращаясь к истолкованию классических текстов XIX в., сталкивается с духовной практикой, включенной в религиозный контекст либо религиозно-философского мировоззрения автора, либо культуры, которая немислима без религиозного сознания. Проявляя специфику такого текста, интерпретаторы вынуждены использовать в создаваемых версиях религиозную символику. Но какую роль играют подобного рода символы?

В анимационной версии по повести Ф. М. Достоевского «Сон смешного человека» (1992), созданной Александром Петровым, сюжетообразующим можно назвать символ рая. Понимание рая близко к толкованию, существующему в православной традиции.

Рай есть не столько место, сколько состояние души; как ад является страданием, происходящим от невозможности любить и непричастности Божественному свету, так и рай есть блаженство души, проистекающее от преизбытка любви и света, к которым всецело и полностью приобщается тот, кто соединился со Христом. Этому не противоречит то, что рай описывается как место с различными «обителями» и «чертогами»; все описания рая — лишь попытки выразить человеческим языком то, что невыразимо и превосходит ум [Иларион].